

# Елка

Н. Михайлин

Рис. Б. Винокурова

## I

Обоим вместе нам с дядей двадцать четыре года. Дядя, как и полагается, постарше, но только на два года. Зато я шире в кости, здоровее, вихрастее. Нас связывала пятилетняя крепкая дружба. Правда, редкая неделя обходилась без драки, но драки не мешали нам быть всегда и везде вместе.

Совсем недавно наши стычки обычно заканчивались моим поражением. В этих случаях я задавал реву и, отступая, грозил:

— Погоди, дай мне только вырасти!

В том, что в недалеком будущем я смогу победить его, сомнений не было: я «рослый», как говорила мать, а дядя — нет. Значит, это был вопрос времени.

В нынешнем году силы начали уравниваться, я догнал дядю в росте. Вместе с тем оба мы далеко продвинулись на жизненном поприще: дядя окончил открывшееся в селе двухклассное училище и, по совету учителя, готовился держать экзамен в фельдшерскую школу, а пока работал писцом в волости и получал три рубля в месяц. Я учился в

двухклассном первый год и был ошеломлен богатством сведений, которые сыпались на нас на каждом уроке. Я с восхищением слушал, когда учитель просто и понятно объяснил и показал, почему луна — то серпик, то полукруг, то полный круг. А как это просто: день и ночь получаются от того, что земля вращается вокруг оси; а лето и зима — от движения земли вокруг солнца. А у нас никто не знает об этом, и никого это не интересует! Когда же спросишь о чем-либо подобном, скажут только: «Бог так сотворил» — и все.

А на земле материка, океаны, моря, жаркий пояс, холодный пояс...

Я потрясен, я никогда не думал, что учиться так интересно. Я начинаю понимать книги и новые красивые, звучные слова: «география», «гейзеры», «полюс», «горизонт», «меридианы», «бухты», «риффы», «теоремы», «аксиомы»! Их у нас в деревне и не слыхивал никто, поэтому хочется втиснуть их в разговор, да и надо же блеснуть своими знаниями!

— Собрать, что ли, обедать? — спрашивает мать, когда я прихожу из школы и вешаю сумку.

— Аксиома! — отвечаю я тоном глубокого убеждения.

— Делом говори! Некогда мне.

— Так я же сказал!

— Дать вот по затылку, будешь знать! — сердится мать.

— Ну это, положим, теорема! — возражаю я.

Мать хочет совсем рассердиться, но ее обезоруживают мое веселое лицо и спокойный, радостный тон. Она понимает мое настроение и догадывается:

— Али про ксиомы учили?

— Угу! Эх, мама, давай обедать скорее: есть хочу!

Пока она наливает похлебку, я успеваю сообщить последние научные новости:

— Мама! Земля вертится!

— С чего это? Врешь, поди!

— Ей богу, правда... Аксиома! А Америка сейчас под нами.

Мать сжимает губы и недоверчиво качает головой.

— Не веришь? Спроси у Александра Иваныча!.. А я сегодня пятерку получил.

— За что?

— За геометрию. Эх, и смешное там слово — «перпендикуляр»!

— Как, как?

— Пер-пенди-куляр! Это в прямых углах.

— С'ешь кашу, выбери себе арбуз. Мне некогда, пойду на гумно.

Мать уходит, а я кончаю обед — и за уроки. Они всегда интересны потому, что каждый раз я узнаю из них что-нибудь новое. «Чур меня!» — говорили славяне в минуту опасности, призывая на помощь предков: чуров, или щуров. А ведь ребята и сейчас говорят: «Чур, не мой забой, чур, не мне!» Вон это откуда! Нет, не только в росте я догоняю дядю.

Сегодня, в минуту согласия, дядя с редким для него беспристрастием сознался, что в последних драках одинаково страдали как мои, так и его бока. Но, желая с достоинством выйти из такого неприятного для его самолюбия положения, он, по обычаю своему, захотел выразиться необыкновенно и процитировал, вспоминая подробности нашего сражения:

— «Инде монголы теснили россиян...»

— «Инде россияне теснили монголов», — подхватил я недавно заученный пример из синтаксиса. — Помнишь, как я тебя прижал к омету?

Нам обоим очень нравилось слово «инде», и я втайне позавидовал, что дядя первый догадался так удачно применить пример. Но тут он всегда был первый: он весь был наполнен синтаксисом, который усердно зубрил по странице в день.

— Ну так что же? — загорелся дядя. — В Куликовской битве победили русские, а ты тогда упал, значит, ты монгол.

— Нет, ты монгол. Я сильнее.

— Сильнее?! Посмотрим!

В следующий момент, сцепившись, мы катались по земле и усердно боролись. Но к великому дядиному сожалению, а к моей неопишуемой радости, действительно «инде монголы теснили россиян».

Дедушка, подметавший на заднем дворе, неспеша подошел к нам и прекратил последнюю из наших «куликовских» битв.

Увернувшись от второго удара дедушкиной метлы, я птицей взлетел по лестнице на конюшню. Дядина власть теперь окончательно свергнута, и мы будем с ним вполне равноправны. Ура!..

Дядина голова высунулась в калитку.

— погоди, пойдешь мимо нашего двора, попадешься!

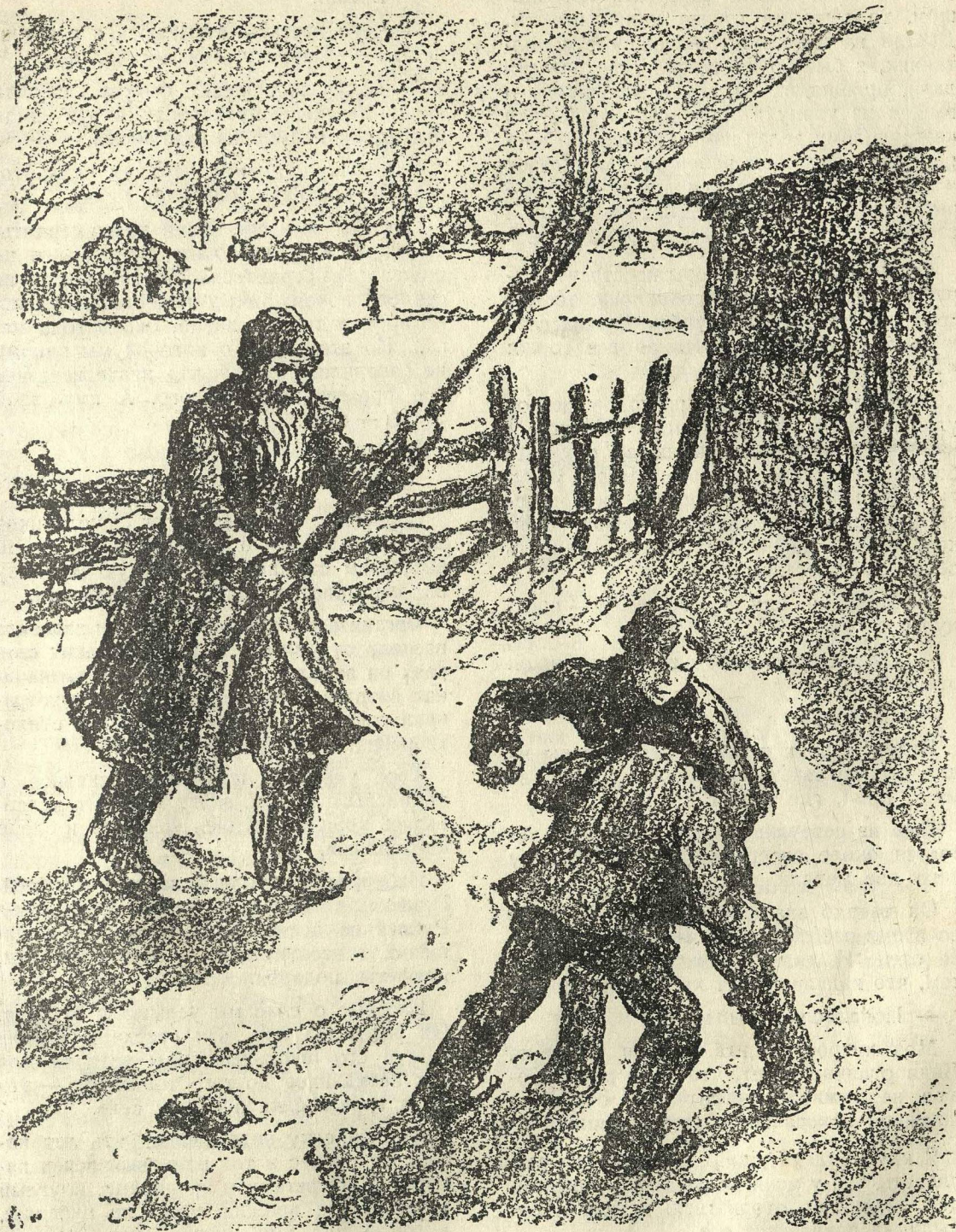
Конечно, попадусь, этого не миновать, но дядя никогда не прибежал ни к камням, ни к палкам, а в честной борьбе мы теперь равны.

Дядину игу конец!

## II

Суворов и Кутузов, портреты которых мы с дядей срисовывали с учебника русской истории, имели на груди медали за свои победы. Мы с дядей давно завели обычай рисовать медали и нацеплять их себе на грудь. Сегодня медаль была мною заслужена, и, не теряя времени, я быстро спустился с конюшни, забежал в избу и принялся за фабрикацию.

Каждый школьник отлично знает, что если положить бумагу на монету и, не



Дедушка, подметавший на заднем дворе, прекратил последнюю из наших «куликовских» битв.

сдвигая ее с места, зачертить карандашом, то выходит точная копия монеты. Достав из шкафа хранившийся там полтинник, я быстро изготовил себе две медали, пришел их на грудь полушубка и вышел на улицу к маленькой горке, что каждую зиму делал нам дедушка. Во дворе у нас всегда был набор разных салазок и замороженных скамеек для всей детворы; о них заботился опять-таки он, наш старый длинноротый ласковый дед.

Скамейка несется с горы навстречу ветру, то плавно скользит по склону, то высоко подпрыгивая на ухабах. В этих случаях полагается крикнуть во все горло: «Тпру!»

Кусок твердого снега, расколотившись от удара, принял форму сапога. Щепкой и карманным ножиком я придал ему еще большее сходство с сапогом. Через минуту у сугроба кипела работа — около горки выстроился ряд снеговых чашек, горшков, ложек, шаров. Недурно бы удивить своим художеством дядю.

— Мама, я еду за соломой! — крикнул я в окно.

— Поезжай, только вези просеяной: отец велел.

— Ладно!

Белые горшки и чашки расставлены на длинных салазках. На гумно нужно идти мимо дома, где живет дядя.

Еще из переулка я вижу, что дядя катается около своего двора. На груди у него две медали.

Он твердо знает, что нельзя нападать во время работы, иначе за меня заступится отец. И дядя ограничивается только тем, что издали грозит кулаком и ворчит:

— Попадешься ты мне!..

Моя хитрость шита белыми нитками. Дядя отлично знает, что я не даром пошел на гумно. Презрительно отвернувшись, он искоса наблюдает за мной.

Я иду медленно, дядя не может не разглядеть, что у меня на салазках, а разглядыв, не может оторваться: всякая новая выдумка привлекает его.

— Ты у кого видал? — вдруг спрашивает он таким тоном, что ясно: примирение неизбежно.

— Сам придумал.

— Врешь!

— Чего врать? — отзываюсь я с готовностью. — Ей богу, сам догадался.

— «Скульптор лепит фигуру, слушая лепет детей», — произносит вдруг дядя очередной пример из синтаксиса.

Я польщен, потому что под скульптором он, очевидно, разумеет меня.

Нет, мы не в состоянии долго сердиться друг на друга! Мало того: мы и не имеем права сердиться. Можно сказать по секрету, почему так: у нас есть одно дело, которое задумано давно, около года назад. Но это тайна, о которой мы никому не говорили, полагая, что иначе исчезнет вся прелесть задуманного. А имя этой тайны — елка.

### III

Большинство деревенских школьников знало елку только по картинкам да по рассказам старших. Настоящую же елку видели только немногие счастливики.

Организация деревенской елки зависела всецело от учителя. Обычно в таких случаях он задолго до зимних каникул начинал возиться с ребятами: с одними устраивал спевки, с другими разучивал стихотворения, с третьими — басни.

Трое учеников побойчей пускались с подписным листом, внизу которого красовались корявая роспись урядника и слово «дозволяю».

Набиралось около двадцати рублей. Привозили молодую красивую елочку. Рублей на десятка учитель закупал украшений, а десятка шла на орехи, пряники, конфеты, подарки.

Впервые о елке мы услышали от отца. Он рассказал нам, как старичок-учитель еще в его школьные годы устроил для них невиданное до того торжество — это была первая елка в нашем селе.

Вторую елку видел дядя пять лет назад. Он принес в тот памятный вечер пакетик с конфетами и пряниками, круглый пенал и три аршина ситца на рубашку, которые дал ему учитель как лучшему ученику и круглому сироте. В час ночи дядя поднял меня с постели, растормошил и долго с оживлением рассказывал про елку, то и дело толкая меня в бок, когда замечал, что мои глаза слипались.

Третью елку видел я сам (дядя в то время лежал больной). Это было в прошлом году. Александр Иванович, учивший в недавно открытой двухклассной школе, уговорил учителей остальных трех школ: церковно-приходской, что помещалась в церковной сторожке, «девчоночьей», т. е. женской, и нашей, земской, — провести елку общими силами. Трудно описать восторг, охвативший нас. Весь день мы были похожи на сумасшедших: дрались, кричали, возились, бегали. Скоро началась подготовка. Мы лезли из кожи, стараясь попасть в число счастливых, которые будут выступать на елке.

Наши соглядатаи незаметно пробирались в «сторожку» и в женскую школу и доносили о том, что видели там. Мы были уверены, что не ударим лицом в грязь: у нас были подготовлены номера, каких не было у наших соперников.

И вдруг всего за неделю до зимних каникул, в самый разгар увлекательной подготовки, нас как громом поразила весть: елки для нашей школы не будет. Мы обратились к своему учителю. Тот подтвердил это, но на все наши вопросы о причинах или молчал или отвечал кратко и уклончиво:

— Так... Не будет — и все!

Разочарование было сильное. Всякая охота к учению пропала. На учителя мы смотрели исподлобья, и его увещевания и щелчки линейкой нисколько на нас не действовали. Пополз слухок, что он поссорился с другими учителями и из самолюбия отказался от елки. Потом взрослые узнали, что ссора действительно произошла, но не с учителями, а с попом, который благоволил к церковно-приходской школе. Это смягчило в наших глазах вину учителя, но усилило вражду к «сторожевским», с которыми мы, «земцы», и без того вели неустанную войну. В большую перемену и до уроков мы дрались теперь особенно ожесточенно. Враждовали и наши руководители: на уроках закона божьего половина класса всегда стояла на коленях.

Елка была, елка удалась на славу. Самый большой класс женской школы, украшенный зеленью сосновых ветвей, был полон народу. Толстый купец-попечитель в суконной поддевке степенно расчесывал окладистую бороду. Рядом с ним сидели грузные старшина и писарь. Весь

первый ряд занимала интеллигенция в белых воротничках и галстуках. Сзади толпились школьники и родители. Мы, отверженные, жались в уголке около печки. По нашему адресу неслись насмешки «сторожки», и даже взрослые, не стесняясь, отпускали шуточки и замечания. Наше самолюбие и честь нашей школы втаптывали в грязь, а мы не в силах были оторваться от зрелища.

Сказочно красивое дерево, пронизанное светом, опутанное гирляндами блестящих бус, зеленело среди класса. Вокруг толпилась празднично принаряженная детвора: мальчики в новых сатинетовых рубашках и девочки в чистых платьицах, с приглаженными волосами. Они пели, декламировали стихи, разыгрывали басни. Наши противники замечательно провели сцену ссоры Ивана Иваныча с Иваном Никифоровичем. Им хлопали все, в том числе и мы. А подарки! Когда учителя начали раздавать бумажные пакетики с гостинцами, мы не вытерпели и скрылись из класса.

Так мне пришлось увидеть первую елку.

Дядя всем сердцем болел за меня в те памятные дни после елки, и никогда он не казался мне таким хорошим. Он разложил на постели свои сокровища: пенал, золоченый орех, картинки, пистолет, книжки и с увлечением рассказывал о своей елке. Вдруг он остановился на полуслове и раскрыл рот, неподвижно глядя на меня.

— Знаешь что, — произнес он почти шопотом, — давай сами сделаем елку.

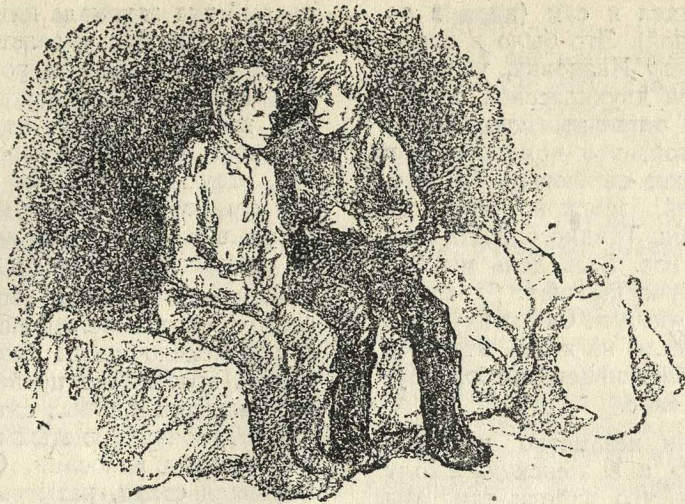
Такая дерзость ошеломила меня, и я, растерявшись, молчал.

— Ну, чего ты быком глядишь?! — раздраженный моим молчанием крикнул дядя.

— Где уж нам! — пробормотал я, вспоминая вчерашний праздник. — Ты бы посмотрил...

— Да не такую, — прервал дядя, — мы сделаем елку только для себя. Дерево срубим, конфет купим, звезду. Разучим стихи... Надо только денег копить.

Я зажмурился: так легче представить себе любую картину. Елка у нас в избе! Вот она стоит, упираясь вершиной в потолок, самая настоящая елка... Только поменьше школьной. Свечи горят — несколько штук, — с ветвей свисают картинки, конфеты... Вокруг прыгают мои сестренки



— Знаешь что, — произнес он почти шопотом, — давай сами сделаем елку.

и брат... Мы с дядей читаем стихи. Зрители — отец, мать, тетки, дед...

Я открыл глаза. Дядя не сводит с меня вопросительного взгляда. И вдруг я нахлобучил шапку, подпрыгнул, затем кувыркнулся на полу, вскочил и запрыгал на одной ноге.

Дядя просиял и протянул мне руку.

— Ей богу, сделаем! Глаза лопни, сделаем! — враз закричали мы, держась за руки.

Так мы клялись лишь в исключительных случаях. Бог — мы не раз это слышали — шутить не любит: нарушишь божбу, глаза, того и гляди, и вправду лопнут.

Вот что произошло около года тому назад, вот что связало нас еще крепче и примиряет друг с другом. Тайна наших замыслов так пока и остается тайной: ни слова, ни намек не вырвалось у нас за целый год. У нас все уже на ходу: деньги копяты, мы подобрали стихи, разучили сцену допроса из рассказа Чехова «Злоумышленник». Наши репетиции происходят то на гумне, в сенице, то у дяди, дома, когда его сестры уходят к подругам.

#### IV

Дядя идет со мной на гумно за соломой. На горке он любовно оглядывает снеговые чашки, горшки и шары, бережно поддерживает салазки и, верный своему синтаксису, бормочет:

— «С горшками шел обоз, и надобно

с крутой горы спускаться...» Если бы снег не таял, — продолжает он после небольшого молчания, — мы бы сделали звезду из снега, орехи из снега и снегом посыпали бы елку. Ты выучил «Дележ»?

— Еще два кусочка осталось.

— Вали, — поощряет дядя. — Я свое все знаю. А что Таня с Надей?

— Надя выучила, и Таня тоже скоро выучит.

— И ты еще ни разу не говорил, зачем учить? — допытывается дядя.

— Вот еще! Что я, маленький, что ли?

— То-то... Смотри!

На гумне мы сначала лезем на крышу сеницы и там расставляем снежные чашки и горшки, потом достаем лопату и с полчаса возимся в большом сугробе, роем в нем сначала «печь», а потом расширяем ее в «пещеру». Натаскав туда ржаной соломы, мы долго сидим в своей «пещере». Дует поземок, а в «пещере» тепло и уютно.

— Сколько же у нас денег? — задумчиво произносит дядя.

— Не знаю. Поди, копеек 50 есть!

— Хорошо бы до рубля догнать.

Я еле сдерживаюсь: меня подмывает сказать, что летом я нашел двугривенный и тайно — даже от дяди — опустил его в копилку. Наша копилка спрятана на чердаке, под двумя кирпичами и мусором. Под копилку пошла банка от свинцовых белил. Ее крышку мы крепко прикрутили проволокой, и дядя припечатал ее сургучом.

— Наславить бы копеек тридцать.  
— Сорок наславим,— бодрюсь я.  
— Сорок—не сорок, а тридцать надо..  
— Если наславим тридцать, да в копилке пятьдесят, будет восемьдесят копеек,— мечтает дядя.— Фунт конфет— двадцать копеек, орехов полфунта— двадцать копеек, картинок на пятак...

— Звезду обязательно купим,— напоминаю я.

— Купим,— соглашается дядя,— звезда— двадцать копеек. Всего пятьдесят семь копеек.

— Только бус не будет.

— Бус не будет,— вторит дядя,— не нашему брату бусы покупать. Флажков зато наделаем больше. Свечей у тебя сколько?

— Четырнадцать огарков.

— Мало, надо больше.

— В то воскресенье пойду.

Мы поднимаемся и идем к омету. Натеревить крюком просяной соломы и затянуть веревкой— дело одной минуты. Да и пора, а то дома будут ругать.

## V

С семи лет дедушка начал каждое воскресенье водить меня в церковь к заутрене и к обедне. Как не хочется просыпаться рано утром! Сквозь сон слышен ненавистный звон праздничного колокола. Разбуженный безжалостной рукой богобоязненного деда, я стараюсь всячески оттянуть время выхода в церковь. Валенки у всех на печке, и я медленно перебираю их, застыв свой под дедушкину постель.

— Мама, а где мой валеный сапог?— спрашиваю я.

Но так как эта хитрость повторялась много раз, то, кроме укоров и ругани, я не получаю ничего. Если дедушка не в духе, то он сам разыщет мой валенок и, с сердцем ткнув в меня, ворчит:

— Коровьи сряды!

За валенками наступает очередь полушубка.

— Куда дели шубняк?

— Ровно не знает,— иронически замечает дедушка, вынимая полушубок из-под голов спящих сестренек.— На, грешник, прости, господи!..

Наконец, я одет, и мы с дедом выходим на улицу. Звонят во все колокола. Этот звон мне приятнее, когда под него приходится идти из церкви домой.

По белому снегу улицы движутся

редкие фигуры, приветливо мелькают огоньки в домах, дым столбом поднимается кверху и стоит над каждой крышей, хруст снега слышен издали. Луна в последней четверти тускло светит сквозь облачную муть. Идти молча скучно.

— Деда,— начинаю я,— мне вчера по географии, наверно, пятерку поставили.

Дедушка молчит: не годится в святую часть дня заниматься мирскими разговорами.

— Я отвечал про луну,— продолжаю я, гордясь своими познаниями.— Луна— тоже шар, как и земля, только в пятьдесят раз меньше. Луна обходит вокруг земли в двадцать восемь дней, а земля идет вокруг солнца и обходит его в триста шестьдесят пять дней, пять часов сорок восемь минут и сорок восемь секунд. Земной путь называется орбитой.

— Земля стоит,— возражает дед,— а по тверди небесной идут и солнце и месяц.

— В географии не так написано,— не сдаюсь я.

— Земля— вселенная, и господь утвердил вселенную, я же не подвигися.

— Кабы ты по географии так ответил, тебе бы больше двойки не получить.

Представление о двойке, видимо, озадачивает деда.

— Деда,— не умолкаю я,— а заутреню, наверно, старики выдумали.

— Вон что!— удивляется дед.— Это тоже вам в школе объяснили?

— Нет. Я сам догадался. Вот, например, ты всех раньше встаешь, маркушин дедушка тоже раньше всех встает. У всех старики рано встают. Вот я и думаю: старики выдумали заутреню, мужики—обедню, а старухи—вечерню.

— Вишь ты куда гнешь! А вашему брату, значит, ничего не досталось! А ты не мели да и людям-то не вели. На том свете таким болтунам горячие сковороды лизать.

— А тот свет где?

Мы подошли к церкви, и дед избавлен от ответа.

Сняв шапку, он шепчет молитву, крестится на иконы, что на воротах, потом на иконы паперти. Вот мы и в церкви.

Скучная это история— простоять на ногах два часа, молчать и даже не оглядываться. Певчие поют протяжно и однообразно, как мужики на свадьбах. У попа и дьякона выходит разборчиво, но непонятно и неинтересно.

Я стараюсь остаться у дверей, и дед,

проходя на свое место, теряет меня из виду.

Сначала меня занимают световые пятна на иконах, потом горение свеч. Я толкаю соседа-мальчика и шепчу ему в ухо:

— Желтая свечка вперед всех сгорит.

— Где? — осматривается тот.

— А вон у Миколы угодника, с правого бока.

— Нет, пожалуй, белая.

— Давай поспорим.

— Давай.

— На что?

— На три козна пойдешь?

— Идет!

Мы потихоньку пожимаем руки и плюем, как полагается по написанному уставу спорящих мальчиков, но в этот момент оба получаем тычки в затылки.

Сзади нас стоит лавочник Савва Кулев, ревнитель церковного благолепия. Он строго глядит на нас и шипит:

— Разве можно в церкви плевать, шайтанята паршивые!

Мы смущены, но огрызаемся:

— А ты не дерись, девятый дьячок!

— Козел старый!

На всякий случай мы отходим подальше от разозленного старика и продолжаем наблюдать за свечкой. Желтая сгорает раньше.

— Видал! — торжествую я. — Гони три козна.

— Сейчас нет, ужо отдам.

Выигрыш развеселил меня, но ненадолго. Чересчур скучно и нудно. Хоть бы скорее евангелие прочитали.

После евангелия можно удрать из церкви. Раньше нельзя: дед за обедом непременно спрашивает, о чем читали в евангелии, поэтому я всегда слушаю чтение внимательно. Кроме того вслед за чтением все становятся на колени, а это мне тоже нужно для своих целей. Но до евангелия еще далеко, и скука становится нестерпимой.

Потихоньку я перехожу к свечному ящику, где торжественно стоят церковный староста, толстый, рыжебородый старик и полуслепой сторож Маркелыч. На полу, у самых ног Маркелыча, стоит небольшой ящик с огарками восковых свечей. Сквозь решетку ящика свободно летит рука.

Моя тактика сводится к тому, чтобы во время земного поклона просунуть руку назад сквозь решетку и схватить пару огарков.

Сегодня повезло: огарки попались крупные, толстые, семь штук их выудил за два поклона. Теперь для елки есть два десятка великолепных свечей. Еще два—три праздника, и свечей хватит. Евангелие тоже запомнил: поп читал, что Христос накормил пятью хлебами пять тысяч человек.

Я мигаю товарищу, и мы выходим на улицу. Перед нами три пути: можно идти на реку кататься на льду, можно лезть на колокольню ловить голубей, и можно, наконец, уйти в школу: там старик-сторож топтит печи. На улице холодно, и мы выбираем школу. По дороге к нам пристают еще трое ребят, и через несколько минут мы сидим на полу у печки. Трещат дрова, темно. Мы поочередно рассказываем страшные сказки.

## VI

Нас распустили на зимние каникулы. В таблице за полугодие у меня стоят одна четверка, две пятерки с минусами, пять круглых пятерок и тройка за пение. Я горжусь успехами: иду вторым учеником.

Дядя торопит с елкой. Надо доставать дерево.

— Тятя! — обращаюсь я к отцу за ужином. — Ты когда поедешь за дровами?

— Завтра.

— Возьми меня.

Отец молчит, и я не уверен в успехе.

— Да, — начинаю я плаксиво, — у других ребяташки все делают: и за дровами ездят одни и за кормом запрягают лошадей, а тебе жалко за дровами взять...

— Да ездь хоть каждый день.

Дело слажено. Вечером я кричу сестренке:

— Танька! Тащи маме мои сапоги, она их в печке высушит: завтра за дровами еду.

За дровами ездят только большие, поэтому я несколько свысока разговариваю с сестрой.

Мы спим на полу. Охапки две соломы расстилаются по всей избе, и в разных углах стелят постели. Детвора располагается поближе к печке. Дед занимает печь.

— Дедяка, — просит сестренка, — расскажи сказку.

— Грех, — поучает дедушка, — в постне рассказывают.

— А когда пост кончится?

— Четыре денечка осталось.



— Как много постов,— вслух размышляю я,— великий пост, рождественский, усупенский, и в каждой неделе — среда и пятница.

— Дедушка, расскажи, — тянет сестра, — пусть на мне грех будет.

— Эка, — ворчит дедушка, — ну, лезь на печку.

Дед начинает медленно рассказывать о том, как у него украли лошадь и как он вместе с соседями по горячим следам настиг вора. Эту историю я слышал раз пять и знаю ее чуть не наизусть. Все-таки дед не решился в пост рассказывать сказку.

Потом сквозь сон слышу пение: дед учит сестру петь «рождество».

Рано утром, раньше чем мы встаем, когда идем к заутрене, меня будит мать:

— Миша, поедешь за дровами?

Я сразу сажусь на постели и тру кулаками глаза.

— Садись блины есть.

У матери до света готов завтрак. Она встает в три часа, месит тесто и до печи успевает нагреть моток ниток.

Я быстро вскакиваю, умываюсь холодной, со льдом, водой. Сон, как рукой, снимает. Четыре блина с картошкой и постным маслом, чашка кислого кваса — ранний завтрак на дорогу. Я одеваюсь и выхожу на двор, где отец запрягает уже вторую лошадь.

Я тороплюсь с вожжами.

— Тпру! — кричу я во весь голос, хотя старик-мерин ничем, кроме ушей, и не думает шевелить.

— Тп-р-р! Застоялся!

Второй поклев на мерина, на котором каждый день отец возит шпалы за десять километров.

Мерин — ровесник мне — хорошая крестьянская лошадка. У нас с ним наилучшие отношения. Летом мы неразлучны: пахать мне приходится на нем, ездить в ночное — тоже на нем.

— Тпру, тпру! — вывожу я точь-вточь как отец, когда ему приходится успокаивать нашу горячую молодую кобылку.

— Я его, тятя, взнуздаю.

— Зачем это? — удивляется отец.

— Я на той неделе на гумно ездил, он меня чуть не разбил.

— Самого тебя взнуздавать, — строго замечает отец. — Орешь на всю улицу.

— Ну ладно, как-нибудь доеду. А чего мне надеть, тулуп али чапан?

— Спроси у матери тулуп: холодно.

До рассвета не меньше часа. Лошади трусят мелкой рысцей, дровни быстро плывут по накатанной дороге, поскрипывая на поворотах и раскатах.

Я с самой осени не ездил ни в лес, ни в поле. Ощущение простора, быстрой и плавной езды возбуждает меня. Я воображаю себя ямщиком, тем самым, про которого учили в школе:

«Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке».

Как похоже! Совсем не трудно представить вместо дровней сани. Тулуп на мне, жаль, не догадался попросить кушак.

Я громко запеваю:

«По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит».

Эх! Вот бы колокольчик нам! Большой буду, обязательно буду ездить с колокольчиком.

В моей памяти довольно много стихотворений, накопленных за четыре года школьной учебы. Лысанка в течение полчасика слушает их, настораживая одно ухо вперед, а другое назад, ко мне.

Доезжаем до леса. Величавые дубы блестят от инея как серебряные. Зеленые сосенки местами вкраплены в их белую стену.

Настороженная лесная тишь нарушается звонким щебетом синички и глухими ударами топора.

— Пинь, пинь... — передразниваю я бойкую желтогрудую птичку.

Удары топора слышны справа; дорожка сворачивает туда, извивается между деревьями и выводит нас на делянку. На ней валяются сучья, торчат пеньки. Мы приехали за крупными сучками. Я усердно помогаю отцу, стаскиваю их в кучу на дорожку, подвожу лошадей, укладываю сучья, забираюсь на воз и топчу их. Отец, видимо, доволен: не даром он два шутиливо ударил меня по спине и толкнул в снег крикнув:

— Сторонись, мужик!

Возы готовы, утянуты веревками, вожжи закреплены на возах, уложены тулупы. Я решаюсь:

— Тятя, побожись, что ты никому не скажешь!

— Чего не скажу?

— Нет, ты сначала побожись!

— Да зачем тебе? — с удивлением спра-



Доезжаем до леса. Величавые дубы блестят от инея как серебряные.

щивает отец, обирая сосульки с усов и бороды.

— Как же ты этого не понимаешь? Если ты побожишься, то тебе нельзя никому говорить.

— Ну, ладно, никому не скажу.

— Экой ты какой! Ты говори: «Ей богу, никому не скажу!»

Отец, слегка заинтересованный, божится.

— Тятя, сруби нам елку!

Отец, видимо, ожидал другого. Он с некоторым недоумением смотрит на меня и ничего не говорит.

— Как же ты не понимаешь? — тороплюсь объяснить я. — Мы с Демой хотим сделать елку. Наславим денег, купим конфет, орехов... Будем рассказывать стихи... Как в школе... Сруби елку, мы привезем и спрячем. У нас уже есть пятьдесят копеек. Сруби, я тебе целый месяц буду за кормом ездить...

Пряча улыбку в усах, отец выбирает на поляне красавицу елочку метра в два высотой.

— Только ты гляди, тятя, никому пока не говори, — напоминаю я, суетливо помогая укрепить елку на своем возу.

## VII

Дядя с сияющим лицом встречает нас около двора. Сначала мы выпрягаем лошадей и ставим их в конюшню, задав корму. Затем, сбросив дрова и затащив елку между нашей и соседской поветями, мы идем обедать. Постные щи, каша с подсолнечным маслом, картофель, четверть вилка соленой капусты, блюдо огурцов и соленый арбуз расставлены на столе и на лавке. Все ждут нас, работников. Мы моем руки, трем их «утиркой», крестимся на передний угол с иконами и садимся на свои места. Веселый разговор не умолкает. Мать рассказывает домашние новости, сестренки пищат, оспаривая друг у друга место рядом с отцом, дед вставляет изредка словечко. Я спешу: дядя делает какие-то знаки. Покончив с картошкой, вылезая из-за стола и торопливо крещусь.

— Молись хорошенько! — строго замечает дед. — Что замахал, ровно руку обжог?

Нахлобучив шапку и на ходу застегивая полушубок, я ударом ноги отворяю дверь, и мы с дядей под ворчанье деда выбегаем на двор.

Дядя отзывает меня в угол сарая и неожиданно сообщает:

— Я славить не пойду, не ходи и ты.

Он победно смотрит на мою вытянувшуюся физиономию, а у меня в это время проносится вереница мыслей, которые имеют один конец: «А как же елка?»

Как же не ходить, когда двадцать копеек от славленья мы все время считали за наличные? Ведь это значит: у нас не будет звезды или конфет. Не так уж много у нас денег, чтобы бросаться двугривенными. Ведь на елку нам никто не даст ни гроша, в этом мы так же твердо убеждены, как в том, что завтра взойдет солнце.

Я гляжу на дядю вот-вот готовыми прослезиться глазами и говорю умоляющим полушопотом:

— А елка?!

Но дядя неподражаем. Он любит эффекты и ошеломляет меня новостью: ему к празднику выдали полтора рубля наградных, один рубль он опустил уже в копилку.

— Но я все равно не пошел бы, — говорит дядя, — совестно.

Это верно: двухклассникам совестно. Если бы не елка, я тоже не подумал бы идти.

Дядя великодушен, я очень люблю его, хотя мы и деремся. Вы подумайте: рубль он жертвует на елку! Рубль — это полтора пуда муки, это рубашка и штаны ему, вечно нуждающемуся круглому сироте! И дядя, не колеблясь, жертвует рубль ради общего удовольствия.

Я с восхищением смотрю на дядю, а он не прочь пофорсить. Очевидно, для того, чтобы еще более подчеркнуть свое торжество, он предлагает:

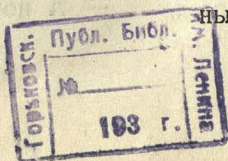
— Пошли деньги считать!

Мы вперегонки лезем на чердак. Кирпичи и мусор летят в сторону. Унести копилку в комнату не хватает терпения. Камнем сбита сургучная печать, длинным гвоздем отворочена крышка, и содержимое копилки высыпано в полу полушубка. Дядя торопливо считает, сбивается, считает снова... Наконец, кончил:

— Угадай, сколько!

— Полтора рубля, — с хитрецей отвечаю я, чтобы полюбоваться, как дядя скажет после паузы: «Нет, рубль семьдесят!»

Вот когда потянет он, мой двугривенный, положенный потихоньку. Дядя, как



я и ожидаю, делает паузу, а потом дрогнувшим от волнения голосом говорит:

— Нет, два рубля двадцать копеек.

Моя хитрость не удалась, потому что я действительно изумлен. Я радостно смотрю дяде в лицо, а он как-то странно округлившимися глазами глядит на меня.

Нам и невдомек, что отец случайно подслушал и подсмотрел и наши репетиции и наш «банк» и что его полтинник вложен сюда. Об этом мы узнали несколько лет спустя, поэтому каждый из нас приписывал другому честь неожиданного вклада.

Дядя кладет деньги в карман и, не в силах сдержать охватившего его восторга, пускается в пляс. Я тоже срываюсь с места и прыгаю вокруг закопченной трубы. Снизу, из избы, в потолок стучат, хлопает дверь.

— Сбесились, что ли, разорви вас разорно?! — доносится голос деда. — Потолок проломите!

Дед может ругаться и ворчать сколько угодно: нас уж след простыл. В два счета мы выбрались на крышу сарая и, сидя, с'ехали в высокий сугроб. Оживленно разговаривая и смеясь, мы идем в лавку приценяться к елочным игрушкам.

Петя Баляба, по прозвищу «Козел», сын лавочника, постарше дяди года на три. Он личный враг дяди. Крупный и толстый парень, всегда одетый в суконный пиджак и брюки на выпуск, он года четыре просидел на «камчатке» и с трудом одолел двухклассное училище. Дядя не влюбил его за презрительное отношение к первым ученикам, которые, как нарочно, были бедняками и ходили в заплятанных пальтишках, старых подшитых валенках и шапочках, утерявших и форму и цвет. Петя явно «фасонил», курил на переманах папиросы «Маяк», а в разговоре никогда не называл товарищей иначе, как кличками.

Петя теперь торгует в лавке своего отца. Он окончательно отшлифовался и с приказчицей вежливостью, которая подчас сменяется грубоватым нахальством хозяйчика, отпускает товар и торгуется с покупателем. Он не упускает случая поглумиться над нами. Мы не любим ходить в лавку к Балябе, но, к сожалению, елочные украшения есть только у него. Дорогой мы сговариваемся купить фунт орехов, фунт конфет и две пятикопеечные книжки, а во время торговли выясним

цены на украшения. Если Петя догадается, зачем нужны наши покупки, он засмеет нас и в лавке и на улице. Самую покупку украшений придется отложить до вечера: Петя торгует только днем, а вечером его сменяет сестра, рябая старая дева.

В лавке я направляюсь к Пете, а дядя идет в другой угол, к его отцу, толстому рябому старику в поддевке, с пробором на середине головы, разделяющим его грязно-серые примасленные волосы. Начинается купля-продажа.

Пока Петя вешает сахар и соль двум бабам, я, не отрываясь, плюю глаза на фонарики, звезду, флажки. Замечаю моток серебристой нити. Как хорошо она подошла бы к зелени нашей елки! Она пойдет вместо бус, она лучше бус. Интересно, сколько она стоит?..

— Тебе чего, молодец? — иронически обращается Петя.

— Почему конфеты?

— Эти — на копейку две, а эти — пара три копейки, — тычет Петя пальцем в ящики.

— А почему фунт?

— Фунт — двадцать копеек. Бери фунт-семишник уступлю, — усмешливо предлагает он.

— Давай!

— Плати денежки.

Петя уверен, что двугривенного у меня не может быть, но я разжимаю кулак, а там наготове двугривенный.

— Петя, не баловать! — доносится скрипучий голос его отца.

Двугривенный — у Пети, фунт конфет — у меня. Петя и не подумал сделать обещанную уступку.

— А почему у вас звезда для елки?

— Двадцать копеек, — небрежно отвечает Петя, занявшийся другими покупателями.

— А почему флажки?

— Ответа нет долго.

Пока Петя возится, отпуская товар, я молчу, затем возобновляю свои вопросы:

— А почему фонарики?

— Не возьмешь ведь.

— А может быть, возьму... А почему красная, синяя бумага?

— «Почем, почем»... — острит Петя. — Сами печем, а печено продаем. Зачем это тебе?

— Так. Скоро святки. Почему бумага?

— Копейка — лист.

— А почему вон эта нить?



*Мы вошли в лавку Балябы.*

— Покупать — так покупать! — грубит Петя. — Чего привязался? Купит на грош — уходит на рупь.

— Все-таки, почем аршин? — смущенно шепчу я.

— Гривенник...

Петя презрительно повернулся спиной. В лавке затишье: покупателей нет. Старик надевает на нос очки и разворачивает газету «Биржевые ведомости».

Дядя давно за дверью, он ждет. Я неохотно выхожу.

— Ну?

— Бумага — по копейке, звезда — двадцать копеек. А ты видел нить?

— Наверху, мотком?

— Да.

— Около звезды?

— Да.

— Видал. Вот бы нам!

— Давай купим аршин пять. Гривенник — аршин.

— Да... — озадаченно тянет дядя. — Гривенник — аршин. Кабы немного... А может быть, уступит?

— Как раз!

Вечером мы играем в бабки около лавки, наблюдая за дверью. Наконец, Петя уходит в дом, в лавке остается его сестра.

Дядя направляет меня: ему совестно покупать игрушки.

Постояв минуты две, я спрашиваю:

— Надя, почем бумага?

— Копейка — лист.

— Отдай три листа за две копейки.

Надя качает головой.

— Ну, давай красной два листа, синей два листа. А почем аршин вон эта нить?

— Аршинами не продаем. — лениво говорит Надя, шуруется и зеваает, — бери все сразу.

Рухнула надежда, и только для того, чтобы поддержать разговор, я говорю:

— А почем за всю?

— Гривенник.

Я не верю ушам...

— За всю гривенник?

— Да, — отвечает Надя, лезет на прилавок и достает спутанный моток блестящей серебристой нити. — Возьмешь, что ли?

— Давай... — чуть дыша, сдавленным от волнения голосом шепчу я.

На лбу у меня выступил пот, а по спине бегают мурашки. С каким удовольствием я сейчас кувыркнулся бы, не схо-

дя с места, крикнул бы во все горло, подрался бы, сбегал бы вперегонки!..

В стекле наружной двери, густо опущенном инеем, дядя надыхал кружок и наблюдает в него.

Надя неторопливо завертывает попку в бумагу.

— Давай еще звезду, — охваченный внезапной решимостью, говорю я, указывая на угол витрины.

— Говорил бы сразу, — недовольно ворчит Надя. — Кому ты это берешь?

— Учителю, — заметаю я след. — Александр Иваныч велел.

Звезда упакована в пустую коробку, и весь сверток перевязан ниткой. Я плачу деньги и пулей вылетаю из лавки.

— Купил? — встречает дядя.

— Купил.

— Сколько аршин?

— Все купил.

— Голова ты бычина! — негодует дядя. — Ты все деньги и ухлопал?

— Нет! — кричу я в ответ, не обращая внимания даже на ругань. — Нет! Угадай, за сколько купил!

— «От радости в зобу дыханье сперло», — цедит дядя. — Уговор был: на нить не больше тридцати копеек!..

Я останавливаюсь:

— Всю нить за гривенник, а звезду за двадцать!

— Ври больше!..

— Вот тебе и ври!..

Полное торжество!

## VIII

Год назад село жило странной, необыкновенной жизнью. Ходили слухи про забастовки, у колодца на улице не раз находили пачки печатных листков с песнями против царя. У дяди и сейчас на дне ящика с книгами хранятся два таких листка. На одном из них стихотворение:

«Отпустили крестьян на свободу  
В девятнадцатый день февраля;  
Только не дали землю народу —  
Вот вам милость дворян и царя!»

Оно нам близко и понятно.

Мы слышим, как по праздникам, сидя кружком на завалинке и просто на соломе под окнами дома, отец и соседи часто считают, сколько они зарабатывают, на зимней возке шпал и бревен. Выходит, что если из заработка скостить расход на корм лошадям, на починку рвущейся

сбруи, дровней и одежды, на питание самого работника, то чистой прибыли, что должна пойти на содержание семьи, остается гривенник в день.

Листки с песнями разошлись по селу, и отдельные кусочки «Марсельезы» кое-где слышались и на улице. Мотива не знали, пели на мотив знакомой песни, а то и сами подбирали. Очевидно, важен был не мотив. Мы с дядей знали «Крестьянскую марсельезу» и пели ее где-нибудь одни: на гумне, в лесу, в поле.

Странная, необычная жизнь продолжалась всю прошлую зиму. На несколько дней вставала железная дорога. В церквах и школах попы читали царские манифесты, а мужики, собираясь кучками, читали газеты, которые выписывались вскладчину. Ночью мать выводила нас посмотреть на зарево:

— Вон в Уваровке пожар; наверно, опять барские ометы подожгли.

На следующий день зарево полыхало в другой стороне.

— Вчера в Уваровке, а ныне в Бестужевке,—говорила мать без обычного сочувствия погорельцам.

Как-то вечером со станции неожиданно прибыла рота солдат, ехавших на усмирение в деревню верст за тридцать, где мужики рубили помещичий лес. Утром они уехали туда на сельских подводах, а дня через четыре вернулись. Солдаты, рассказывая об усмирении, сокрушенно качали головами:

— Поди, и наших отцов так колотят.

— А ты думал—как?

— Чего ж делать? — смущенно отзывался третий.—Велят!

— Я тихонько бил. Размахнешься чисто на зверя, а ударишь для вида. Ну зато стражники!.. Лупцовали почем зря!

— Зверь—народ: как хлестнет, так по лицу кровавая полоса!

— Как скомандовали, они, дьяволы, сразу в нагайки...

— Я замахнулся прикладом, а он глядит на меня да трясется. Я локоть поднял и мигнул... Мырнул под локоть и утек.

— Э-эх!..

Весь вечер солдаты смущенно обменивались замечаниями. Ложась, они поснимали с себя обмундирование, и я с удивлением отметил, что вместе с одеждой исчезла и их внешняя обособленность: они удивительно стали похожи на наших сельских парней. Рано утром они ушли на станцию.

Постепенно все входило в старую, привычную колею: потухли зарева пожаров, меньше разговаривали мужики на улицах, чаще поучали попы в проповедях. Они клеймили бунтовщиков, крамольников. Стражники то и дело появлялись в селе, особенно в базарные дни. Они разогнали посиделки, отхлестали парней и в кровь избili нескольких мужиков, которые спяна вздумали с ними ругаться.

Стражников ругали опричниками, иногда дрались с ними в трактирах и пивных. Часто ночью по селу карьером проносились их дозоры.

Весной исчезли и стражники, только урядник остался на селе. Полевые работы: посевы, полка, весенняя, а потом и летняя страда—целиком захватили мужиков. Словом, жизнь потекла попрежнему.

А нынешней осенью появились «волчки». Всю зиму они ходят подвое, потрое, заходят в избу, просят хлеба. «Волчков» можно отличить и по костюму и по разговору. Одни одеты в городское пальто, часто рваное, всегда измятое, другие носят пиджак, тоже не деревенского покроя, брюки навывпуть и ботинки. Зимние холода заставили их сменить ботинки на старые валенки и опорки, а головы повязать шарфами или платками.

Разговаривают они быстро, складно и несколько непонятно. Многие из них носят очки.

Нищих в селе знали всех наперечет, знали, в какой день и даже час они придут за куском хлеба. «Волчки» же появились неожиданно и быстро исчезали. Ни одного «волчка» никто не встречал дважды.

Село отнеслось к ним сначала настороженно.

— Сколько их! — судачили меж собой бабы.—Батюшки, сколько их!

— Иван из Жердина приехал, говорит: по дорогам-то идут: взад — вперед, взад—вперед... Инда, говорит, страшно..

— Вчера опять урядник по дворам расставлял.

— Чай, и к нам вчера привели.

— Да откуда они берутся? Сразу видно: не нищие!

— Какой же нищий — в пальте да в очках!..

— А чего про себя бают?

— Молчат больше. Ходим, говорят, за забастовки.

Вскоре бабы отметили особые черты «волчков»:

— Табунами ходят, а чтобы воровать—ни-ни!

— К нам пришел, а просить не может: стоит и глядит.

— Совестно: не приходилось...

— А «христа ради» не говорят. Подай, бает, тетка, если есть.

— Да за что их «волчками»-то зовут?

— По волчьему билету ходят. День у нас пробудут, ночуют, а завтра — уходи, куда глаза глядят. Больше дня им нельзя в одном селе жить.

— А ведь и вправду, как волки: нынче — здесь, а завтра — беги; нынче — поел, а завтра — как кто даст...

Мы, мальчишки, сначала пробовали задирать «волчков». Увязавшись за кем-нибудь из них, мы провожали его и кричали:

— Волчок-беднячок! Барин в лаптях!..

Но, странное дело, когда мы дразнили татар, которые ходили по селу, покупая сырые кожи, кошек, собак, татары гнались за нами, драли нам уши, ругались, смешно коверкая слова (из-за этого их и дразнили); если дразнили нищих, они ворчали и жаловались родителям; дразнить же «волчка» было просто неинтересно: он останавливался и, не обращая внимания на прозвище, дружелюбно улыбался и затевал с нами разговор. После нескольких попыток мы не только оставили «волчков» в покое, но даже стали относиться к ним сочувственно. С «волчками» начали заговаривать и оказывать им мелкие услуги: бегали за махоркой, указывали дорогу.

Вскоре дядя потихоньку сообщил мне: это «волчки» сочиняли песни против царя, они дрались на улицах Москвы, бунтовали во всей России, это их попы называли крамольниками.

На «волчков» мы стали смотреть другими глазами.

## IX

Рождество. Еще очень рано. По селу разносится частый звон колокола. Мелькают огоньки. Хозяйки торопятся затопить печи: у них дела больше чем в будни, так как надо приготовить праздничный обед. Шестинедельный пост кончился, и сегодня «разговенье». Пекутся блины, оладьи, лапшенники, пироги. Малыши вертятся у печки, выпрашивают у матери горячий блин или пирожок: вот уже полтора месяца, как им перестали давать сдобное.

Густой бас большого колокола настойчиво гудит в ушах. Скоро в его гул влетают медные подголоски маленьких колоколов. Должно быть, большой колокол им надоел хуже горькой редьки — маленькие ропщут, выкрикивают, протестуют, а большой сдержанно ворчит на них: «Бум, бум, бум!..» Затем все вскрикивают враз и замолкают, словно обидевшись на что-то. Мы с дядей отправляемся в церковь вместе. У нас уговор: вместе вернуться домой и слушать, как ребята будут «славить». Дядя смешлив, и ему нравится, когда ребята перевирают славянский текст.

За полчаса до конца церковной службы мы спешим домой и занимаем свой наблюдательный пост в передней неосвещенной комнате; дверь ее открыта в заднюю, где стряпает мать. Скоро с улицы доносятся звонкие мальчишечьи голоса:

— Пустите Христа прославить!

— Идите.

Хлопает дверь, и в тумане морозного воздуха, ворвавшегося с улицы, вырастают две фигуры. Они срывают с себя шапки и бойкой скороговоркой, задыхаясь и спеша — надо ведь обойти побольше дворов! — начинают петь. Перебивая друг друга, они с самым серьезным видом заканчивают славословие, без передышки, той же скороговоркой говорят:

— С праздником вас!

И переводят дух, как после быстрого бега.

— Спасибо, — протяжно отвечает им мать. — Чьи вы будете?

— Я Морозов с Оторваловки, а это — дяди Михайлы.

— Вон что! — вежливо удивляется мать. — Какого Михайлы?

— Да нашего дяди Михайлы: на задах у нас живет.

— А!.. Далеко зашли.

Мать тщательно различает славильщиков: чужим и неизвестным она дает по конфетке, знакомым — по копейке, а родным — по семишнику.

Не успевают выйти первые славильщики, как одна за другой лезут две новых пары. Пока одна пара поет, другая ждет своей очереди и начинает сразу же, как только первая успеет выговорить:

— С праздником вас!

Мы с дядей стараемся уловить, как ребята справляются с двумя местами. В первом говорится, что земля приносит неприступному богу скромный вертеп (пещеру),





*Мужики ходят в обнимку, горлая песни нескладными, пьяными голосами.*

а второе гласит: «нас бо ради родися», то есть: «так как он (Христос) родился ради нас». Оба эти места и непонятны и трудны, поэтому мальчишки заменяют их кто как горазд.

Как только славильщики доходят до этих слов, мы, затаив дыхание, слушаем.

— «И земля вертеп преступному прино-о-о-сит», — поют одни.

— «И земля вертепному, преступному прино-осит», — подтверждают другие.

Во второй части еще больше разнообразия. Ребята старательно выпевают:

— «Наш борода родися...»

— «Наш бог роди, родися...»

— «Наш бог в городе родился...»

— «Наш бог в бороде родился...»

Бог родился бородастым! Дядя неудержимо хохочет, зажимает рот и выбегает на двор.

По улицам в это время группами расходится народ. Впереди катится шумная мальчишечья ватага, за нею плавно выступают девушки, еще дальше — мужики. Старики поотстали и степенно замыкают шествие. Нет в пестрой толпе только женщин-хозяек: они прикованы к печкам, зыбкам, к дому и только одним глазком могут взглянуть в окно на празднично разодетый народ.

После праздничного обеда взрослых тянет на отдых, а нас — на улицу. Сегодня ребята — народ денежный: они собираются в кучи и затевают игру в карты

или в орлянку. Мы с дядей чувствуем себя отщепенцами, потому что в деньги не играем.

Вечером на улицах катанье. Лысанка полегоньку трусит вдоль широкой улицы в бесконечном ряду санных упряжек. Но и катанье сегодня не так интересно: озорники-ребятишки бросаются мерзлыми катышками конского навоза и снежными комьями. Подвыпившие, а то и совсем пьяные парни дерутся «стена на стену». Мужики постарше ходят в обнимку, горлая песни нескладными, пьяными голосами. Рядом идут бабы, визгливо вторя мужьям. Пьяная песня долго носится над селом.

Село, одурманенное вином, постепенно затихает, укладываясь спать. А в полночь тревожный «всполох» поднял только что заснувших мужиков: горел амбар. Кто-то под пьяную руку сводил старые счета с недругом.

## X

Наша елка намечена на сегодня, на третий день рождества, когда закончились гулянки и похмелья взрослых, которые могли помешать нашему торжеству. У нас все готово: конфеты, картинки и орехи привязаны на ниточки, запутанный моток блестящей нити терпеливо распутан, елочка вставлена в крестовину, свечные огарки выпрямлены и выбелены мелом, подарки готовы.

Репетиции идут дважды в день. Я вожусь с сестренками, проверяю их «в последний раз». За старшую я не беспокоюсь, но в младшей не очень уверен.

У нас на стене давно висит лубочная картинка, изображающая громадного желтоголицего китайца с длинной черной косой и в странной острой шляпе. Над ним нарисованы солдаты, они палят из ружей и пушек, бьют в барабаны. Внизу стихотворная подпись:

«Китайцу снился страшный сон:

Дрожат, трещат его хоромы,

И слышатся со всех сторон

Бой барабанный, пушек громы» и т. д.

Эта довольно длинная галиматья вдруг полюбилась маленькой Наде. Она затвердила четыре куплета «китайца» и готовится выступить с ними на елке. В последние дни ее можно видеть в углу; она что-то шепчет, усердно шевеля губами.

— Надя, что ты там делаешь? — осведомляется мать.

— Рази не видишь? Повторяю, — отзывается сестра.

Сегодня перед обедом Надя крестится так долго и работает своими пухлыми губками так старательно, что все заинтересованы.

— Какую ты, внученька, молитву прочитала? — ласково спрашивает дед.

— «Китайцу снился страшный сон», — с достоинством отвечает сестра и читает до самого конца.

Все смеются, а дед смущен. Он хотел бы рассердиться, да не может.

После обеда, запершись с дядей в передней избе, мы принимаемся за елку. Возмись долго. Украшения вешаются по половице «Семь раз примерь, один раз отрежь». Завязав нитку петлей и повесив за нее конфетку, дядя отходит шага на два назад, прищуривается. Если не понравится, он перевесит ее и снова проверит. Я занялся огарками. Укрепляю их на конце каждой ветви. Всего больше возни с блестящей нитью: ее не так-то много, а надо пустить ее сверкающие черточки в наиболее видных местах. Наконец, елка готова. Для пробы зажжены все свечи. Мы с дядей отходим в сторону и любимся. Вот и осуществилась наша мечта: достигнута цель, к которой мы стремились целый год. Вот она, наша елка, дело наших рук, сияет светом пятнадцати свечей, блещит серебряной нитью, а на самой вершине у нее горит и искрится пятиугольная звезда!

С зеленых ветвей свисают на ниточках конфеты — двадцать копеек фунт, — крупные орехи, флажки, яркие картинки. Елка великолепна! Подарки в бумажных паке-тиках кучкой лежат на полу под деревом. Присутствие небывалой нарядной гостьи так изменило нашу избу, что она кажется незнакомой.

Так хорошо, что не верится, что это сделали мы! Неужели это не сон? Да, это не сон, это сделали мы, и обоим нам вместе двадцать четыре года!

...Но надо продолжать работу. Надо закрыть ставни, чтобы не привлекать внимания любопытных. Через несколько минут начнем. Уже смерклось.

Дядя выпускает меня и быстро захлопывает дверь. Я стремглав лечу во двор и на улицу и закрываю ставни. Возвращаясь со двора, сталкиваюсь с сестренкой, которая выбежала с новостью:

— Миша, а к нам «волчка» привели. Ночевать.

— Ну так что же?

— А его мы примем на елку?

— Погоди, — отстраняю я рукой сестру, — сейчас...

В самом деле, за столом сидит незнакомый человек, худощавый, в потертом пиджаке, из-под которого выглядывает грязный воротник рубашки, — «волчок». У него землистый цвет лица, русая кудрявая борода, очки и длинные, зачесанные назад волосы. Мать кормит его обедом.

Проскользнув в чуть приоткрытую дверь, я сообщаю ему новость. Новая задача! Пригласить надо, но у нас для всех заготовлены гостинцы. Неудобно оставлять «волчка» без подарка. Дядя достает из кармана последний гривенник.

— Беги, — приказывает он, — купи на пятак пачку папирос, шестнадку табаку, бумаги и спичек. Дуй! Чтобы одна нога здесь, другая — там!

Через десять минут я, запыхавшись, выгружаю из своих карманов заказ, а дядя при свете огарка — он потушил свечи на елке — завертывает все в бумагу и ставит на свертке букву «в», чтобы не смешать при раздаче.

Свечи зажжены снова, и снова сияет красавица елка.

Быстро выглянув, дядя распахивает дверь — и в переднюю избу с шумом врывается детвора: маленький брат и две сестренки. Дети застывают в дверях, уставив на елку округлившись от удивления и восхищения глаза. Затем они срываются

с места, подбегают к нам, тормозят, визжат, вешаются на шею. Таня летит назад, к матери, сразмаху прыгает к ней на колени.

— Мама! — кричит она, дергая мать и за платок и за волосы. — Мама, гляди-ка: елка-то какая! Мамынька, елка-то! Пойдем глядеть! Мама, айда в ту избу!..

Веретено летит в сторону. Расходившаяся девочка тянет мать, а за ней поднимаются и остальные.

Дети прыгают вокруг елки. Трехлетний карапуз Вася не отстает от других и, переваливаясь на толстых коротеньких ножках, обегает дерево. Дядя дал всем по конфетке и кренделю. Восторженные восклицания, визг, топот.

Входят взрослые. Дедушка садится на бсковой лавке. Он захватил незаконченный лапоть и пучок свежих, влажных лык. Поглядывая на нас смеющимся взглядом, он потихоньку орудует кочедыком и стучит по колодке. Мать и тетка приносят донца с гребнями. Усевшись на передней лавке, посмеиваясь над нами и над собой, они прядут. Взрослые чувствуют неловкость, оттого что сознают себя участниками детской забавы. Чтобы сгладить ее, они продолжают свою обычную работу. Хлопает дверь, и заходит отец, который только что убрался со скотиной. Раздеваясь он приглашает с собой «волчка».

— Пойдем, Иван Алексеич, у нас ребячий праздник.

Я вижу эту сцену и выбегаю в заднюю избу.

— Идем, дядя! — говорю я и бесцеремонно ташу его за рукав.

Иван Алексеич изумлен: он никак не ожидал встретить елку в нашей невзрачной избе. Он обводит изучающим взглядом наши лица, глядит на взрослых, потом его взгляд останавливается на стопке моих учебников, тетрадей и книг, лежащих на столике. По его лицу пробегает улыбка. Протерев очки, он садится на лавке поближе к столику с книгами, берет сразу несколько и просматривает их.

Мы с дядей блаженствуем. Дядя начинает своим верным и чистым альтом:

«В лесу родилась елочка,

В лесу она росла...»

Мы дружно подхватываем:

«Зимой и летом стройною,

Зеленою была...»

Все поют с увлечением. Лишь я, не имеющий слуха, очень осторожно пускаю

свой голос в унисон с другими, хотя так и хочется заорать во весь дух.

— Как в школе, — одобрительно замечает отец.

— Лучше, — возражает, улыбаясь, мать. — Обрядили лучше.

Мы таем от такой похвалы.

Входит карапуз Вася, у него первый номер декламации.

«Здравствуй, гостя зима!

Просим милости к нам...» —

картавит малыш.

Потом выступает Таня:

«Румяной зарею

Покрылся восток,

В селе за рекою

Потух огонек...»

Даже дедушка на время бросил кочедык и слушает Пушкина. Когда сестренка кончила, все хлопают. Дядя по-особому сложил ладони, и хлопок выделяется из общего шума: «Гук! Гук!..»

Подошла очередь семилетней Надюши. Она громко и торопливо, усердно шевеля пухлыми губами, читает разученного со мной «китайца».

— Молитва, — напоминает всем мать, лукаво поглядывая на деда и подмигивая нам.

Дед как будто не слышит, ковыряя своей лапоть.

Наступает наша очередь. Дядя, пошептавшись с Иваном Алексеичем, исчезает за печкой; туда ухажу и я. Через минуту мы появляемся измененные, по нашему мнению, до неузнаваемости. Я выступаю в старом и рваном отцовском пиджаке, лаптях и шапчонке. Дядя надел серую жилетку, пиджак и белую фуражку. Все это он попросил у помощника волостного писаря. На носу красуются очки. Усы и брови подведены у обоих жженой пробкой.

Дядя важно садится за стол в углу, а я стою перед ним, поникнув головой с взлохмаченными волосами. Дядя, перелистав толстую книгу, берет карандаш и листок бумаги.

— Денис Григорьев! — начинает он измененным, строгим голосом и манит меня пальцем: — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы...

Я только сейчас смутно понял свою роль темного, тупого мужичонки, который очутился перед «барином». Белая фуражка, очки, костюм так отделяют его от меня!



*Лицо декламатора, воодушевленное искренним чувством, странно изменилось.*

— Чаво? — спрашиваю я, и в моем голосе нет ноток, вызывающих смех, о чем мы заботились на репетициях; зато ясно звучит недоверие к «не нашему брату».

— А, слышь-ка, бывает эдак-то, — вдруг заговорил дед, когда стихли аплодисменты. — Однава я пахал у Новного оврага. И пойди к вечеру дождь. А я с ночевкой. Лошадей спутал, пустил на оброчной. А дождик-то, дождик-то! Промочило меня под телегой, дрожу — зуб на зуб не попадает. Чего делать? Пришлось столбик срубить. Нашепал дровец да кой-как развел под пологом. Чуток согрелся. А ут-

ром нелегкая несет об'ездчика да прямо ко мне. Увидал глазастый шайтан. «Ты, баэт, срубил?» «Я, мол». «А орла видал?» «Ночью-то где, мол, увидишь! Орла ровно совсем и не было». «Врешь, баэт, герб на каждом столбе выжжен. Ставь, баэт, полштофа!» «За что, мол, это?» «Ну, баэт, как хошь». И поехал. Да в стан меня за герб-то! Я и плюхал в рабочу пору за сорок верст. Становой кричит: «Ты, баэт, царский знак сничтожил! В тюрьму, баэт, тебя!» «Я, мол, ваше благородие, прозяб тогда до самых кишек». «Молчи, рестаит, и рожа-то у тебя, баэт, рестанская!»

Штрафу наложили красненьку, а в те поры за красненьку-то я ползими к волости дрова чалил!

Дед замолк, тут Надя захлопала, как хлопала всем. Ее неожиданно поддержал Иван Алексеич, а за ним подхватили и мы.

Огарки догорели, и мы заменили их запасными. Сцепившись за руки, мы ходим вокруг нарядной елки, прыгаем, хохочем, поем. Вася залез под елку и лукаво поглядывает на всех: он подбирается к висящим конфетам. Его вытаскивает за ногу Надя.

Теперь моя очередь выступать. В том же старом пиджачишке, с теми же намалеванными на губах черными усами я выхожу и начинаю:

«Да, сударь мой, нередко так бывает:

Отец — на стол, а детки — за дежечку,  
И брата брат за шиворот хватает  
Из-за чего? И в толк-ат не возьмешь!»

Дядя заключил программу, прочитав «Утопленника», и стал раздавать подарки.

Оживление возрастает. Малыши, схватив свои свертки, летят к матери.

— Мама, — визжит Надя, — погляди! Да гляди, что ли, скорее, маманька!

— Батюшки, батюшки! — изумляется мать. — Куда столько?

— Мама, — тащит за другую руку Танюшка, — у меня больше! Бери себе конфетку!

Вася в сторонке забрался на лавку. Он подбирается к матери, обнимает ее рукой и с'езжает к ней на колени. Мать затормошила.

Взрослые приятно удивлены: они тоже получают подарки. Насчет этих подарков мы с дядей раздумывали, стараясь подобрать их по вкусу и по карману. Мать с теткой получают по головному платку (15 копеек штука) и по паре конфет. Отцу купили складной нож, чтоб можно брать его в поле. Дедушка у нас — бывалый старик. В свое время он бурчал, сделал две путины от Царицына до Нижнего, занимался к купцам в извоз от Уральска в Мензелинск. Ему мы купили фунт «сабзы» — изюма, который он возил в Мензелинск и которым раз угощал нас, детей, приходя с базара. Ивану Алексеичу принесли свертки. Он развернул, посмотрел на нас блестящими глазами, подхватил меньшую сестренку, которая передавала подарок, поднял ее и крепко поцеловал в щеку. Покрасневшая от смущения

девочка только мигала глазами и по привычке что-то шептала, шевеля губами.

Вдруг Иван Алексеич сделал несколько шагов и остановился на том месте, куда мы выходили для декламации.

Все умолкли, удивленные неожиданно.

«Струн вещей пламенные звуки

До слуха нашего дошли...» —

заговорил Иван Алексеич. Его голос, заметно взволнованный, дрожал и переливался:

«К мечам рванулись наши руки,

Но лишь оковы обрели...»

Лицо декламатора, воодушевленное искренним чувством, странно изменилось. Затаив дыхание, все слушали. Дедушка выронил лапоть, остановились веретена, отец смотрел так, будто впервые видел гостя, а мы с дядей, забыв на минуту даже про елку, не сводили глаз с «волчка».

«Мечи скуем мы из цепей

И вновь зажжем огонь свободы,

И с нею грянем на царей, —

И радостно вздохнут народы...»

Звенящий голос умолк. Иван Алексеич, наклонив голову, быстро вышел из комнаты. Все молчали и переглядывались. Мать кончиком платка потихоньку вытирала глаза.

Огарок на нижнем сучке догорел, и смолистая хвоя, треща и извиваясь, заплясала в пламени. Дядя подскочил, сломил сучок и затоптал его на полу.

— Пойдемте ужинать, — встала мать и, выдернув гребень, аккуратно расправила мочку и сложила все под лавку.

За ужином разговор вновь возобновился. Детворе не сиделось на месте, девочки сначала шушукались, а потом заболтали вслух. Молчали только отец да Иван Алексеич, отказавшийся от ужина; он молча лежал на полатах и пускал клубы табачного дыма.

После ужина мы еще повертелись вокруг елки, попели, поиграли. Отец внес охапку соломы для постелей и свалил ее у порога. Пора кончать.

Бережно убрали мы наши сокровища, смотали нить, уложили в коробку звезду и картинки. Орехи и конфеты разделили всем поровну. Елку вынесли, чтобы освободить место для постелей. Мы с дядей свернулись калачиком под одеялом.

— Видал теперь, какие они, «волчки»-то? — шепчет дядя.